

Марина Цветаева

Дом у Старого Пимена



*Часть сборника
Проза (сборник)*



Проза Марины Цветаевой

Марина Цветаева
Дом у Старого Пимена

«Public Domain»

1933

Цветаева М. И.

Дом у Старого Пимена / М. И. Цветаева — «Public Domain»,
1933 — (Проза Марины Цветаевой)

«Вся моя проза – автобиографическая», – писала Цветаева. И еще: «Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком». Написанное М.Цветаевой в прозе – от собственной хроники роковых дней России до прозрачного эссе «Мой Пушкин» – отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

© Цветаева М. И., 1933

© Public Domain, 1933

Содержание

I	5
II	10

Марина Цветаева Проза

Дом у Старого Пимена

Вере Муромцевой, одних со мной корней

I

Дедушка Иловайский

Не собирательный дедушка, как «дедушка Крылов» или «дедушка Андерсен», а самый достоверный, только не родной а сводный.

«Мама, почему у Андрюши два дедушки, а у нас только один?» Помню вопрос, ответа не помню, да его, наверное, и не было, ибо не могла же мать ответить правду, а именно: «Потому что мой отец, ваш дедушка, Александр Данилович Мейн, как человек великодушный и справедливый, не может не любить, по крайней мере, не одаривать и не ласкать, чужого внука наравне с родными внуками, а Андрюшин дедушка, как человек черствый и очень уж старый, насилу и единственного своего внука может любить». Так и оказалось у Андрюши «два дедушки», а у нас с Асей – один.

Наш дедушка лучше. Наш привозит бананы – и всем. Дедушка Иловайский – только золотые – и только Андрюше – прямо в руку – даже как-то мимо руки – ничего не говоря и даже не глядя – и только в день рождения или на Рождество. Мама эти золотые у Андрюши сразу отбирает. «Августа Ивановна, вымойте Андрюше руки!» – «Но монет софсем нофенький!» – «Нет чистых денег». (Так это у нас, детей, и осталось: деньги – грязь.) Так что дедушкин подарок Андрюше не только не радость, а даже гадость: лишний раз мыть руки и без того уже *замывшей* немкой. Золотой же проваливается в отдельную «иловайскую» копилку, и никто о нем не вспоминает до очередного золотого. (В один прекрасный день вся копилка со всеми, за десять лет, иловайскими золотыми исчезла, и если кто-нибудь о ней жалел – то не Андрюша. Золото для нас сызмалу было не только грязь, но пустой звук.)

Наш дедушка заезжает за нами на своих лошадях и увозит в Петровское-Разумовское, Андрюшин дедушка никого не увозит, потому что сам никогда не ездит, а всегда ходит пешком. Оттого он и дожил до такой старости, говорят старшие. Наш дедушка привозит нам из-за границы заводные игрушки, например, Андрюше в последний раз из Карлсбада игрушечного мальчика, который лезет по стене. При дедушке же Иловайском и сам живой мальчик Андрюша пошевеливаться не может, точно сразу сломался завод. После каждого его посещения наш старый трехпрудный дом всеми своими ходами и переходами шипит и шепчет: «Мильонщик» (няня) – «Millionäg» (балтийка-бонна), вместе же: «Шушушу – Androuscha – Андрюшечка – *reicher Erbe*¹ – наследник...» Эти слова для нас, семилетнего, четырехлетней и двухлетней, не имеют никакого смысла и остаются чистой магией, как сам дедушка Иловайский на венском стуле, посреди залы, чаще даже не сняв своей большой, до полу, шубы – холод трехпрудного низа он знал, ибо это был *его* дом, им данный в приданое дочери Варваре Димитриевне, когда выходила замуж за моего отца. Дальше залы дедушка Иловайский никогда не шел и на круглом зеленом зальном диване никогда не сидел, всегда на голом стуле посреди голого паркета, точно на острове. Тыча в воздух на подошедшую и приседающую девочку: «Это кто же – Марина или Ася?» – «Ася». – «А-а-а». Ни одобрения, ни удивления, ни даже осознания. Ничего. Но зато и мы от него ничего не чувствовали – даже страха. Мы *знали*, что он нас не

¹ Богатый наследник (*нем.*).

видит. Двухлетняя, четырехлетняя и семилетний знали, что нас для него *нет*. И рассматривали его совершенно так же свободно и спокойно, как памятник Пушкина на Тверском бульваре. Единственное его на нас действие, – как, впрочем, всякого памятника – в комнате, был некий постепенный безболезненный, глубокий столбняк, отпускаявший нас только со скрипом парадного. Если бы дедушка Иловайский никогда не ушел – мы бы никогда не двинулись.

Весной на сцену нашего зеленого тополиного трехпрудного двора выкатывались кованые иловайские сундуки, приданое умершей Андрюшиной матери, красавицы Варвары Димитриевны, первой любви, вечной любви, вечной тоски моего отца.

Красный туфелек (так мы говорили в детстве), с каблуком высотой в длину ступни («Ну уж и ножки их были крошки!» – ахает горничная Маша), – скат черного кружева – белая шаль, бахромой метущая землю – красный коралловый гребень. Таких вещей мы у *нашей* матери, Марии Александровны Мейн, не видали никогда. Еще кораллы: в семь рядов ожерелье. (Мать – двухлетней Асе: «Скажи, Ася, коралловое ожерелье!») Хорошо бы потрогать руками. Но трогать – нельзя. А эти красные груши – в уши. А это, с красным огнем и даже вином внутри – гранаты. («Скажи, Ася, гранатовый браслет». – «Бра-слет».) А вот брошка коралловая – роза. Кораллы – Neapel, гранаты – Vohemen. Гранаты – едят. А это – странное слово – блонды. От какой-то прабабки – мамы – румынки. Никакого смысла, чистейшая магия. («Говорят, актрисы были, на театре пели... – шепчет Маша нашей балтийке-бонне. – Говорят, наш барин очень без них тосковали». – «Думхейтен², – басом отрезает балтийка, блюдущая честь дома, – просто богатая дочь богатый отец. А пела, как птиц, для свое удовольствие».) Жаркий, жгучего бархата, костюм мальчика. Мальчик, которого так одевают, называется паж. (И черный шнурок с змеиной головой, которым подбирают юбку, – паж.) А этот длинный нож называется шпага. Фаи, муары, фермуары. Ларчики, футлярчики... То, как все это пахнет, – пачули. Андрюша, убедившийся, что второго ножа не будет, носится вокруг на «штекенпферде»³. Я, робко, матери: «Мама, как... красиво!» – «Не нахожу. А беречь нужно, потому что это Лёрино приданое». – «А какой снег серебряный!» – «Это нафталин. Чтобы не съела моль». Нафталин, моль, приданое, пачули – никакого смысла, чистейшая магия.

Позже на нашем зеленом тополином дворе появился остов велосипеда. Говорю – остов, потому что, подрастая, сразу опознала его в первом же из тех животных, непомерно высоких, с непомерно высокими шеями и далекими от земли ногами, существующих только в виде остова, да и то на картинках (как и такие велосипеды). «Доисторический велосипед историка!» – хохочет и даже грохочет свободомыслящий студент Гуляев, готовящий Андрюшу в приготовительный класс Седьмой гимназии, а сестру Лёру, под шумок, себе в невесты. Это была первая модель велосипеда, подаренная, вернее оставленная (проще – отставленная!) нещедрым дедом доросшему до науки внуку. Себе же дедушка купил новый. Самое трудное и даже несбыточное для девятилетнего мальчика было на этот велосипед – сесть. Второе – на нем поехать: нога на аршин не доставала до педали. Единственное доступное было на нем сидеть, ибо скелет был трехколесный, непреложноустойчивый и усидчивый. Велосипед с Андрюшей возил по двору дворник Матвей. Нас с Асей на заветное иловайское сидение не пускали никогда. Но мы и не мечтали. Все иловайское в нашем доме, от бирюлек институтки Валерии до Андрюшиного ихтиозавра, для нас, только-Цветаевых, было табу. Это был дом молчаливых запретов и заветов. Позже в нашем доме появилось *такое же* ружье. И *такая же* подозрительная труба. Можно сказать, что дед из своих вещей вырастал, как ребенок из обуви, только в обратной пропорции: большее сменяя на меньшее. Впрочем – велосипед, ружье, труба оказались его единственным наследством внуку. Остальное (миллионы – в кавычках или без кавычек) унаследовала Революция.

² Глупости (*нем.*).

³ Деревянной лошадке на палочке (*нем.*).

Иловайский жил на Малой Димитровке, в переулке у Старого Пимена. В доме Иловайских мы с Асей никогда не были, только о нем слышали. Отец – матери: «Ты уже целый месяц не была, пятая пятница, пойми же: обида! – пересиль себя, голубка, – нужно...» – «Значит, опять засесть в угловой и целый вечер проиграть в винт!» А в винт играют – так: стоит посреди комнаты стол на винту, вокруг сидят гости и вертят, кто перевертел – выиграл. Это еще называется «вертеть столы», и этим-то и занимаются институтка Лёра с молодыми Иловайскими, запершись от нас на ключ. Скучная игра и даже страшная, потому что, по словам матери, до полуночи ни с места встать, ни перестать нельзя: в дверях угловой дедушка Иловайский, который не пускает. Позже, когда я поняла, что винт – карты, помню такое слово матери: «Wenn die Menschen keine Gedanken zum Austausch haben, tauschen sie Karten aus»⁴, а еще позже *узнала* эти слова у Шопенгауэра. «Что делать, голубка, людей не переделаешь, а обижать не надо...» – вздыхал отец, сам глубоко равнодушный ко всякому столу, кроме письменного.

Андрюша у Иловайских бывать не любит. Сверстников у него там нет, и он сразу попадает в когти второй жены дедушки, Александры Александровны, которую так и зовет по имени-отчеству. А.А. (рожденная Коврайская) на тридцать лет моложе деда и, как взрослые говорят, до сих пор красавица, а по-нашему – наоборот, потому что лицо у нее злое, нос с какими-то зашипынутыми ноздрями и такой же, сквозь зашипынутые ноздри, голос. А «родинки» – родинки просто пятна, точно шоколад ела и над губой не вытерла. Ходит она всегда в «курицыном», то есть в черную с белым, коричневую с белым, серую с белым, мелкую клеточку, от которой, если долго смотреть, в глазах рябит, а смотреть приходится долго, тупя глаза под ее – обратным *его* голубому невидящему – всевидящим черным глазом в ее же рябой подол. Вся стянутая, подтянутая, как взрослые говорят: «tirée a quatre épingles»⁵, и все время «пускает шпильки», которые, в соединении с «quatre épingles», превращают ее для нас в какую-то подушку для иглоков.

Но дети у А.А. – чудные. Их трое: кареокая Надя, черноокий Сережа и очень хорошенькая, толстая Оля с глазами, которые у нас в доме зовутся «незабудки».

Димитрий Иванович Иловайский был женат два раза. Первая жена и все трое детей от первого брака умерли. Помню в семейном альбоме чудесные лица этих мальчиков. (Красота в этой семье цвела!) Последней из первой семьи умерла уже упомянутая красавица В.Д. Но смерть не остановилась. В 1904 году и красавица Надя и красавец Сережа (двадцать два года, двадцать лет) один за другим протянулись на столе у Старого Пимена. Последняя же дочь, Оля, для Иловайского – хуже, чем умерла: бежала к человеку еврейского происхождения в Сибирь, где с ним и обвенчалась.

1906 год. Мы с Асей, после долгой заграницы, потеряв мать, отвыкшие и выросшие, вернулись в наш трехпрудный дом. Большая зала, в которой за наше отсутствие прибавился только цветной поясной портрет Андрюшиной матери (портрет – роковой в жизни *нашей*), посреди залы венский стул, на голом стуле, под карим прекрасным взглядом покойницы, в волнах своей черной шубы, посреди голого пола, как посреди голого поля, – дедушка Иловайский. Вытянутый перст, оловянный невидящий взгляд: «Это которая же: Ася, или?..» – «Марина». – «А-а-а...» И не узнавал он нас не потому, что он нас столько-то лет не видел, а потому, что он нас вообще никогда ни разу не увидел, то есть лица с именем не связал, а не связал потому, что ему было все равно. Вопрос же об имени (которая – кто) был чистейшей функцией историка: *mettre les noms sur les figures*⁶ – тут же забываемые – по неисторичности. До «исторических» же дат, – то есть наших с Асей возрастов, у Иловайского никогда не дошло. Пять лет, пятна-

⁴ Когда людям нечего сказать друг другу, они играют в карты (*нем.*).

⁵ Букв.: натянутая на четырех булавках (*фр.*).

⁶ Называть вещи своими именами (*фр.*).

дцать ли лет стоящей перед ним Марине – какое ему дело, когда она не Мнишек, а самому восемьдесят с лишком – зим!

– Странный у деда дом, – рассказывает брат Андрей, живший все эти годы у Иловайских, – топят снизу и всегда ночью, босиком – ступить невозможно, танцуешь, как в аду! А сам дед спит на чердаке, в самый мороз с открытой форткой, – и Надю с Сережей заставлял, может быть, оттого они и умерли. И ничего не ест, за целый день три черносливины и две миски толокна. И всю ночь не спит – и ей не дает – либо пишет, либо ходит, как раз над моей головой – все взад и вперед, взад и вперед. Перестал – значит, пишет. Я в гимназию – он спать, прихожу завтракать – уж опять пишет. И чего это он все пишет? Доведу, говорит, до последних дней. До каких это последних, когда *сегодня*, например, уж, кажется, *последний*? а завтра – опять последний!... Так ведь никогда-не-кончить можно... А – здоров!!! До сих пор верхом ездит, а как в рог трубит – уши лопаются! Сам не спит, а других укладывает. Пока еще Надя с Сережей живы были, придет молодежь, гадают или играют во что-нибудь – ровно в десять часов, в самый бой, на пороге – дед в халате. Подойдет и дунет на свечу, потом на другую, так на все подряд, пока не останется одна. Эту – оставит. И уйдет, ни слова не сказав. Значит, гостям домой пора. Ну, а гости пошумят, пошумят в передней калошами, чтоб знал, что ушли, а когда уйдет к себе на чердак – опять возвращаются, и уж тогда пир горой, только потихонечку...

Один вопрос нам с Асей, впрочем, прибавился, даже целых два. «В гимназии учишься?» – «Да». – «По какому учебнику?» – «По Виноградову». (Вариант: Випперу.) Недовольное: «Гмм...» Но Иловайский мне на экзаменах послужил, и не раз. Однажды, раскрыв его учебник, я попала глазами на следующее, внизу страницы, булавочным шрифтом, примечание: «Митридат в Понтийских болотах потерял семь слонов и один глаз». Глаз – понравился. Потерянный, а – остался! Утверждаю, что этот глаз – художественен! Ибо что же все художество, как не нахождение потерянных вещей, не увековечение – утрат?

Стала читать дальше, – и раньше, и после, и древнюю, и среднюю, и новую, и вскоре убедилась, что всё, что он пишет – вижу, что у него всё – *глаз*, тогда как неизбежная «борьба классов» наших Потоцких, Алферовских и т.д. либеральных гимназий – совсем без глаз, без лиц, только кучи народа – и все дерутся. Что тут *живые* лица, живые цари и царицы – и не только цари: и монахи, и пройдохи, и разбойники!.. «Вы отлично подготовлены. По каким источникам вы готовились?» – «По Иловайскому». Либеральный педагог, ушам не веря: «Как? Но ведь его учебники совершенно устарели! (Пауза, наполненная всяческими размышлениями). Во всяком случае, вы прекрасно осведомлены. И, несмотря на некоторую односторонность освещения, я вам ставлю...» – «Пять», – мысленно подсказываю я. Эту шутку я повторяла в каждой гимназии, куда поступала, а поступала я постоянно. Так, столь ненавистный стольким школьным поколениям «Иловайский» – источник не одной моей, школьницы либеральных времен, пятерки.

Вторым вопросом нам с Асей Иловайского было: «Мой „Кремль“ читала?» – «Да». – «А что я в нем пишу?» – «Про евреев». – «А что я в нем пишу про жидов?» – «Вы их не любите». (Призрак усмешки и, с непередаваемым наполнением:) «*Не любите!*...» Родного внука, впрочем, опрашивал подробнее – и коварнее. «И то ему скажи, и то! Настоящий допрос! Не я же писал, наконец! Наизусть, что ль, ему учить? – жаловался Андрей. – Я ему: немцы, он мне: ливонцы. А по мне – хоть чухонцы! Вчера целый час не отпускал!»

Ежемесячная газета «Кремль» с единственным редактором, сотрудником, подписчиком и разносчиком – Иловайским. (Родных и знакомых обносил сам.) Цензора, впрочем, он над собою почувствовал, ибо в 1905 году, после трех предупреждений, «Кремль» – закрыли за открытую и сердитую критику историком Иловайским исторического жеста последнего на Руси царя в октябре 1905 года. Помню, в молодом дневнике матери (около 1895 г.) такую запись: «Была на докладе Д.И. о призвании на царство Михаила Романова, в присутствии высочайших особ. По Иловайскому выходило, что Михаил Романов был избран на царство за ничтожество.

Смело, но в присутствии родных – неловко». Бесстрашие свое и глубочайшее несчитание со всем, что раз навсегда не предстало ему правдой и долгом, он доказал в эпоху более ответственную, чем 1905 год. «И истину царям с улыбкой говорить». Улыбки на лице Иловайского я не видела никогда. Сомневаюсь, чтобы видели и цари. Но правду – слышали. «Кремль», конечно, потом опять разрешили, и Д.И. продолжал наводнять им дома своих оброчных. Единственное, что у меня осталось от единственного моего посещения дома Иловайских – это стопы «Кремля» в глубоких нишах окон, стопы, доходившие до оконного креста и не аллегорически, а физически застилавшие жителям и посетителям божий свет и мир. Комнату эту, полуподвальную, с годуновскими сводами, прошу запомнить.

Это был красавец-старик. Хорошего роста, широкоплечий, в девяносто лет прямой ствола, прямоносый, с косым пробором и кудрями Тургенева и его же прекрасным лбом, из-под которого – ледяные большие пронизательные глаза, только на живое глядевшие оловянно.

Закрываю свои – и вижу: наша маленькая трехпрудная передняя, в дверях парадного старик в огромной шубе, перед ним оробевшая, за десять лет не могущая привыкнуть горничная. «Машей тебя зовут? Так доложи своему барину, что приходил барин от Старого Пимена. „Кремль“ принес».

II Дом у Старого Пимена

Это был смертный дом. Все в этом доме кончалось, кроме смерти. Кроме старости. Все: красота, молодость, прелесть, жизнь. Все в этом доме кончалось, кроме Иловайского. Жестоковыйный старик решил жить. «Заживает чужой век... Всех детей зарыл, а сам... Двадцатилетний сын в земле, а семидесятилетний по земле ходит...» Под этот шепот и даже ропот – жил.

Много позже прочтя Фарреровских «Hommes vivants»⁷, я (прости меня Бог, ибо это – грех) не вспомнила, а глазами увидела Д.И. Книга, в ее страшности, груба. Столетние старики в какой-то каменной пустыне подстерегают и зазывают молодых путников и выкачивают из них кровь, которой живут. Ничьей крови Д.И. не пил, нет, он по-своему детей даже любил, но соответствие все же уцелевает: от такого долголетия, самого по себе редкого, а при стольких молодых родных смертях – чудовищного. Первая жена, двое мальчиков, дочь; сын и дочь от второго брака... Это был какой-то мор на молодость. Мор, щадивший только его.

Иловайского в нашем доме, как и в его собственном, часто упрекали в черствости и даже жестокости. Нет, жестоким он не был, он был именно жестоковыйным, с шеей, не гнущейся ни перед чем, ни под чем, ни над чем, кроме очередного (бессрочного) труда. Казалось бы – сколько предостережений! Если не сбавишь спеси, не сдашь власти, то есть прежде всего не сдашься перед очевидностью, – и те умрут. Все умрут. Но очи его видели другое. Они не видели смысла сменяющихся на столе тел. *Истории* в своем доме и жизни историк не ощутил. (А может быть, и не истории, а Рока, открытого только поэту?) Очевидность его очей была одна: его родительская власть и непогрешимость ее декретов. Смерть же – несчастье, от Бога посланное. Ни одной секунды старик не ощутил себя виновным. Да – был ли?

Над этими детьми был рок ранней смерти. Не улыбайтесь, он есть. И Иловайский, как в мифе, может быть, был только орудием. (Хронос *должен* пожирать своих детей.) Вина есть, когда есть ее осознание. Когда ее осознания нет, она не вина, хотя может быть и смертоносна. Иловайский же жил – в Иловайском жило непоправимое сознание правоты. Как судить непогрешимость?

И, может быть, то, что всем казалось волей жить, была неволя над ним рока, рок, обратный детскому, был рок над ним долгой жизни, как над теми – ранней смерти: долголетия, ставшего проклятием? (Сивилла, не могущая умереть.)

И так как всё – миф, так как не-мифа – нет, вне-мифа – нет, из-мифа – так как миф предвосхитил и раз навсегда изваял – всё, Иловайский мне ныне предстает в виде Харона, перевозящего в ладье через Лету одного за другим – всех своих смертных детей.

Вот те первые мальчики из окон семейного альбома и старшие бы меня на сорок лет, с молодой их матерью посредине. Оба на одно лицо: отца, большелобые, голубоглазые, прямолицые, до последней минуты через материнские колена плещущие друг в друга недвижной водою Леты...

Вот В. Д., любимая жена нелюбимого, – другого любившая, выпевавшая свою беду под солнцем Неаполя и умершая после рождения первого сына – на полуслове, с букетом в руках, парадная, нарядная, – сгусток крови шел и шел и дошел до сердца, – В.Д., залитая кораллами, с не остывшим еще румянцем Юга и первой радости. Вот она, концом кораллового ожерелья машет оставляемому сыну...

И – туман над Летою редеет – не альбом! не портрет! – Надя, живая, – каштановая и розовая, вся какая-то жгуче-бархатная, как персик на солнце, в своей гранатовой (Прозерпина!)

⁷ «Живых людей» (фр.).

пелерине, которую двуединым жестом озноба то распахивает, то смыкает, – о нет, не в саване! Миф савана не знает, все живые, живыми входят в смерть, кто – с веткой, кто – с книжкой, кто – с игрушкой...

(Всё в этой ладье сменяется, кроме лодочника.)

Вот Сережа, живой отблеск отживших поколений (о, как ты *ничего* не понял, историк!), изящный, тонкий, с маленькими бачками на совершенно детском лице, светло-черноглазый, не розовый, – ярко-бледный, – живой 1812 год! – с гравюры – из семейной хроники – точно вросший в свой (увы, студенческий!) мундир. (И вот таинственное слово из глубочайших недр моего младенчества встает: Сережа Бор-Раменский...) Сережа Бор-Раменский, Рауль Добри из романа для девиц *Zénaïde Fleuriot*... А в общем, вечное видение юноши: Ганимед, восхищенный Завесом, Гераклов Гилл, похищенный нимфой... Но *эта* река – Лета, река без нимфы, река без звука, Лета, которой ничего не нужно, даже его чудных глаз.

Дорогие Сережа и Надя, вижу вас весной 1903 года в блаженном месте: генуэзском Нерви. Сережу – в тени комнаты и матери, Надю – на полном свету, только пересекаемом материнской тенью. Мать Сережу хранит, Надю – стережет. Вот они обе в ландо на *bataille de fleurs*⁸. Все цветы – ей, бумажные, с песком (а может, и свинцом) горошины – матери. Разойдется итальянец и запустит: в красотку – розой, в дракона – дрянью. (Как это А.А., сама красотка, в сорок лет без единого седого волоса, ухитрялась быть драконом?) Надя смеется, мать виду не подает, но после первого же рейса вдоль «марины», велит кучеру повернуть обратно – и невозвратно. С цветочного боя – в ту самую одну комнату, где сравнительно здоровая сестра с серьезно-больным уже братом живут вместе и будят друг друга кашлем. В Надю влюблен студент Фан дер Фласс, не голландец, а киевлянин, тоже больной, тоже красивый, которого мы с Асей зовем «монастырский кот», потому что толст и как-то особенно чист и живет в отдельном, вроде бы келья, домике. Мы с Асей носим от него Наде записки, а бывает, и от нее. Нас она тогда горячо, много раз подряд целует в голову, прижимая к жаркой груди. Влюбленным покровительствует моя мать, тоже молодая, тоже больная, часами занимая непереносимую ей А. А. хозяйственными, непереносимыми ей самой, разговорами: наблюдениями, соображениями, иногда – измышлениями: как, например, солить репу... (Потом нам: «Пускай посолит! Сама же и будет есть!») – и увлекая бдительного стража до полного забвения сроков. Но в один блаженный день блаженство кончается. А. А., не дождавшись конца лечения, под предлогом дороговизны жизни (двое в одной комнате, пансион по пять франков, миллионы...), на самом же деле – из-за успехов Нади (неблагонадежного состава этих «успехов») увозит детей из морского Нерви в сырое Иловайское «Спасское». Надя плачет, Фан дер Фласс, и не он один, плачет (особенно плакал один, с большой рыжей бородой, и даже не из нашего пансиона, на которого Надя даже ни разу и не взглянула), наша мать плачет, мы с Асей плачем, благоденственный Сережа из почтения к матери не плачет, он неустанно, из экипажа, оглядывается, казалось тогда – на Нерви, оказалось – на жизнь.

* * *

Мать. Мать она была сыну, не дочерям. Да простит мне ее тень и да увидит, что я прежде всего и после всего – не сужу. Есть такая украинская сказка о матери родной и матери крестной. Идет девушка ночью мимо храма, видит – свет, заходит. Служба тихая, священник чужой, молящиеся – чудные: одни давно не виданные, другие и вовсе никогда. Вдруг кто-то ее за плечо. Оборачивается: крестная мать покойная. «Беги отсюда, девонька, а то здесь твоя мать родная, увидит – разорвет». Но поздно: мать – увидела, вон, сквозь народ, пробирается. Девушка – бежать, мать за нею, так и мчатся они по пустым полям (дочь-то по земле, а мать-

⁸ Битве цветов (*фр.*).

то за ней – по-над землею). Но рядом крестная, не дает в обиду, на бегу засыпает ту, родную, крестами, отрешивается. Наконец – конец. Край деревни, первая хата. Петухи поют. И крестная, прощаясь: «Никогда, девонька, больше не заходи ночью в церковь, как увидишь свет. Это неупокоенные души молятся с неупокоенным попом. Не будь меня – заела бы тебя твоя мать родная, с самой своей смертушки на тебя зубы точит».

Когда я эту сказку, как всегда в таких случаях, для выяснения самой себе, стала рассказывать и потом опрашивать, – в чем дело? почему? – только один из моих собеседников: собеседница, категорически: «Совершенно понятно. Ревность. Ведь дочь – соперница». Посмертная ревность к молодости, несчастной – к счастливой, мертвой – к живой. И, возвращаясь к А. А.: неупокоенные страсти мертвой, *никогда* не жившей. Ибо А. А. никогда не жила. Выйдя молодой красавицей за старого Иловайского, она вышла за деньги и за имя. Получила же ключи на пояс и на себе – крест. Ревновал он ее, по домашним рассказам, люто. Жестоковыйный старик любил красоту. Никуда без себя не отпускал, только раз, с каким-то своим присным, на бал, которым потом ее всю жизнь попрекал. Зря. Была горда и верна. (До измены, как до собственной красоты, просто не снисходила. Так и вижу ее, стоящую с видом, точно попирающим собственную красоту.) Пошли дети. Дети, сразу отделенные от нее традиционной стеной кормилиц, нянек, бонн, гувернанток, учителей. Не говоря уже о водоразделе родительского верха и детского низа. Дети, действительно, жили под родителями, как под спудом: то, по чему родители, со всеми их тяжестями, всей своей тяжестью, ступали, было для детей – верхом, то есть попросту лежало у них на головах. Вроде Атлантов, держащих небосвод с небожителями. (Недаром их «низ» был со сводами!) На том и надорвались. И, возвращаясь к воспитанию: как тут было до своего ребенка – добраться? Сквозь всю эту подобострастную и стойкую толщу – протраться? Для этого нужно – *очень* любить. А можно ли, я только ставлю вопрос, а неизбежно ли, а так ли уж непреложно – любить ребенка от нелюбимого, может быть – невыносимого? Анна Каренина смогла, но то был сын, сын – в нее, сын – ее, само-сын, сын ее души. Таким сыном для А.А. оказался последний ребенок – Сережа, дитя ее души и тела, *она* живая – если бы ее с самого начала не убили.

Нет физического сходства без душевного. И если Сережа, весь кротость, робость, нежность, с первого взгляда казался душевно-обратным матери, то потому, что сравнивали его с нею – нынешней, а не с нею – тогдашней, его однолеткой. И не высшее ли смирение она проявила тогда, выйдя замуж за нелюбимого, раз навсегда смирясь: сломясь, точно так же, как ее сын без всякой мысли ропота связал бы себя с той, которую бы движением брови указала – она. Только в Сереже, еще не тронутым жизнью – мы видим упокоение покорности, в ней – ожесточение покорности.

Меж тем жизнь, понемножечку, красоту перековывала. Когда знаешь, что никогда, никуда, начинаешь жить тут. Так. Приживаешься к камере. То, что при входе казалось безумием и беззаконием, становится мерой вещей. Тюремщик же, видя покорность, размягчается, немножко сдает, и начинается чудовищный союз, но настоящий союз узника с тюремщиком, нелюбящей с нелюбимым, лепка – *ее* по его образу и подобию. Но какой же может быть здесь «образ и подобие»? Между стариком-ученым и нелюбящей красавицей? Что могла А. А. от Д. И. «перенять»? Историю, дело его жизни? Нет, историю он писал сам. Идеи? Они ей, как всякой настоящей женщине, были безразличны (не были бы, ежели бы, но так как этого «ежели» не было...). И, чтобы не спрашивать праздно – она могла перенять от него только методы. Его методы скопидомства, домоводства, детоводства, однодумства и т.д. Методы, сразу выродившиеся у нее в привычки и даже мании, ибо одно – в стране, другое – в доме, одно – в книге, другое – в жизни. Вся нетерпимость Иловайского к инородцам, перенесенная на одну немку-экономку, вся теория государственного накопления – в пределы собственной кладовой, весь идейный Домострой, перенесенный на *живых* детей. Нечего говорить: Иловайский в доме был

тираном, но тираном идейным, то есть не мелочным. Раз навсегда, en bloc⁹. И больше олимпийцем, чем тираном: он до детей просто не снисходил. А. А. же, из дома не выходя, во всё входила, в каждый их шаг и жест, и именно потому – что всё и чисто внешне, в них самих никогда не вошла. Разница между Папой, санкционирующим, и рядовым боевым членом братства Иисуса. Словом, в доме А. А. была его правой рукой, а правая рука всегда пуще головы. «Молодые девушки должны ездить на балы», – Иловайский. «Да, но по возвращении вешать платья на „плечики“, – А.А. (Сильно говоря, она, конечно, была *огорчительницей* колодца их молодости.) «Молодые девушки должны танцевать с теми, кто нравится их родителям», – Д. И. «То есть не танцевать с теми, кто *им* нравится», – А. А. Упор с должествующего переносился на возбуждаемое. Физический запрет становился духовным.

Почему? Почему и откуда запреты? А потому, что ей самой, так еще недавно, запретили жить, сама себе сгоряча (пусть с холоду расчета, но все же сгоряча воображения!) запретила, потому что сама себя заживо зарыла в доме у Старого Пимена. Дочери, особенно одна, растут красавицы. «Я тоже была красавица». Дочери растут веселые. «И я смеялась».

И вот, подсознательное (подчеркиваю это трижды) вымещение на дочерях собственной загубленной жизни. Если, в упрощающем мифе родни и дворни, Д.И. детский век «заживал», А. А. его – «заедала». Не заедала, нет. Она не питалась их соками, ибо тогда эти соки ей шли бы впрок, чего не было, – она их жесткой рукой зажимала, не давала им ходу, чтобы ее женские отпрыски тоже не были счастливые. Иное старение кормится возле молодости дочерней, это же ложилось на них могильным камнем. Я задохнулась – и ты не дыши.

Чудовищно? А такой брак – не чудовищно? Сама виновата! А разве эта сама – знала? Знала, что такое вообще брак? Это нынешние знают. Те, пятьдесят лет назад, летели в этот ад, как бабочки на свет, – всей грудью. Оступались в него, как в ров. И – как знать? Может быть, еще и родительская власть, угрозы и уговоры *ее* матери? Ожесточенное бедой сердце – вот. Но как же вымещать на невинных? А разве она знала, что – вымещает? Это знающая природа в ней вымещала, мстила за попанную себя. *Она*, в полной невинности – воспитывала. (Показательно и подтвердительно, что недуг, от которого из троих ее детей погибло двое, был *ее* недугом, даром, наследством. Впрочем, и у Д.И. был в юности туберкулез, но – когда была эта юность? и была ли когда? И вот уже начало нового мифа о родителях, откупившихся от смерти детьми...)

Девочек не мучили. О, им многое разрешали. У них были наряды, подруги, братья подруг, у них были билеты на парад и ложи в балет, и, главное – у них были «живые картины»... Сказав это слово, я дала эпоху. Это был рассвет девятисотых годов, недалекий канун Пятого. Шел пока еще ручьевый шум студенческих беспорядков. Слово «педель» – одно из первых, которое я в младенчестве осознала, от созвучия с «пудель». И вот, от сходок, вопросов, запросов, страшных людей, идей – щит: живые картины. Колеблющийся щит: целая стена старинного штофа. А за ним...

Недвижная группа из живых людей, окрашенная бенгальским – зеленым и малиновым – пламенем. Группа не дышит, улыбки застыли, пламя трепещет, догорает... Занавес! Рукоплескания. Красавица Надя, *весна* для каждого встречного, застывшая аллегорией Весны, с бенгальским румянцем на персиковом. Живая красавица, застывающая красавицей спящей. Красота, спящая под очкастыми – подслеповатыми – дальнотзоркими – слезящимися – и Бог знает еще какими! – взглядами старцев, старцев – Елены, старцев – Сусанны, семидесятилетних сверстников ее отца... (Могла бы назвать имена, иные – исторические, но зачем? Все это ушло в миф...)

Но что тут делали бородатые студенты и доценты? (Из всей группы безусым был только Сережа, неизменная пара всех Надиных превращений: Май всех ее Весен, Царевич – Краса-

⁹ Весь, целиком (*фр.*).

виц.) Пенсне можно снять, но бороду? А ведь и они участвовали в «Веснах» и «Помпадурах». Бородатые – маркизы? И этот *contresens*¹⁰ в доме у историка? Как ни грустно, не могу не улыбнуться. И десятилетия спустя не могу не содрогнуться от такого сгущения жути: «живые картины» – в мертвом доме, мертвые картины из живых людей.

Были живые картины, были выезды, – поднадзорное танцевание, напоминающее мне уныние первых Ассамблей. Но девочки отыгрывались. Жизнь всегда отыграется. Чайный стол молодежи понемножку обрастал кругом молодых вольнодумцев (позже – всего только правых кадетов!). Свечи старого дома даже под надежными щитами своими содрогались от первого дуновения «идей». Каких? Еврей тоже человек. И самые храбрые: «Раз сам Христос был еврей...» Звучало еще робкое, но и в робости своей грозное, ничем, кроме собственного звучания, не заполненное слово «свобода». Какая? Вся. От чего? От всего. И, конечно, прежде всего – от дома. Нет, нет, не от родителей. Родители еще были неприкосновенны, неподсудны, да и они ли гнели? Нет, не Д.И. же со своими декретами раннего спанья и такого же вставанья, не А.А. со своими нотациями и интонациями – родители сами были *гнетомые* – гнел дом, сам Дом, со всеми в нем прежде жившими и жившими так, как нынче жить уже нельзя (а было ли когда-нибудь можно?). Гнел дом толстыми, как в бастиионе, стенами, гнел глубокими нишами окон, точно пригнанными по мерке привидений, гнел дверями, не закрытыми, не открытыми – приоткрытыми, гнел потолками, по которым неустанно, по ночам, кто-то взад и вперед, взад и вперед, гнел подсматривающим, вплотную прильнувшим садом. О, больше всего садом, его мнимой свободой, на самом же деле всем дозором бессонного древесного сырья, так явно держащего руку – бывшего, садом с его сыростью, садом с его старостью, с калиткой, не ведущей никуда. И больше всего слово гнело: Пимен. Кто был Пимен? Что за святой? Почему не сохранил? Почему из троих выпустил *не* на кладбище только одного, одну? Иловайская девическая «свобода» была только свобода от этого страшного святого, точно забивавшего их клюкой в гроб. Свобода от сторожа, сторожившего дом, стороживший их. (О, *Пимену* дело только до *дома*, сохранить дом во всем объеме, со всем, что в нем, будь то комод, гроб, сын.) «Вырваться от Старого Пимена!» Сами не знали, что говорили. (Однажды, после такого взрыва, Надя: «Впрочем, мы с Сережей в нем долго жить не будем. Дом останется Оле». И Оля, как бы обиженная на такой распорядок (подарок!), – запальчиво: «Тогда я его взорву!» Но Россия со *всеми* Старыми Пименами взорвалась раньше.

Гнет родителей – был, но гнет – исполнительный: подневольный. (Не забудем, что и над Зевесом – рок.) Гнет был не от их присутствия, а от всеприсутствия, всюдусущия: в самом воздухе дома и на тридцать верст вокруг (на тридцать лет вперед!). «И настигнет мя десница твоя» – это вовсе не значило, что А.А. над дочерьми сидела и пилила (дочери для нее были только частью домоводства, такую же, как сундуки), что Д.И. в неурочные часы заходил и ловил. Гнет был в том, что неурочных часов не было, не могло быть, что сам этот дом был затянувшийся «урок истории», что слишком легко было физически из-под гнета выйти: обойти. Это был, если довести вещь до ее истинных размеров – искус доверием. Нет, не то слово: родители и предположить не могли, чтобы их можно было обмануть. Слепость их веры (в непреложность своей правды и власти) и составляла затвор. Замков не было. Впрочем, давно известно, что вера – привязь пущая всех цепей. Если нельзя обмануть доверяющего, то как же можно – не сомневающегося, не усумнившегося никогда? Дочери, как и мать, были честны и горды. Дом у Старого Пимена при всей его тяжести был исполнен благородства. Ничего мелкого в нем не было. («У нас было тяжело, у нас не было так мелко» – слово Оли И. о семье, в которую из Старого Пимена вышагнула.) Это не была бытовая трагикомедия приказов и обманов, придинок и уловок, как все бытовое кончающееся благополучно. Дом У Старого Пимена благополучно кончиться не мог. Потому он так надо мной и властен, что он был не менее чистокровно-тра-

¹⁰ Бессмыслица (*фр.*).

гичен, чем дом Приама. Что над ним был – Рок. Рок, сказавшийся в самой физической заочности родительского гнета, в их физическом олимпийстве: наверху, на свету, откуда вниз, в полуподвальные садовые туманы, шли невидимые декреты – токи. (Единственный дом, кстати, на моей российской памяти, где бы *родители* жили наверху, а *дети* внизу). И в Трехпрудном, и во всех ему подобных – детским был тесный, низкий, но жаркий и светлый верх, родительский – парадный, просторный, но пустынный и холодный низ. Дети от родителей спасались наверх. Здесь же дети родителями были низвергнуты в преисподнюю, под достоверные *своды*... Аида. Очевидно, старина Старого Пимена была древнее дворянской (Уран, Титаны...). Но подчас, еще углубляя этот образ, Д.И. предстает мне уже не Зевесом – Гадесом, владыкой подземного царства.

Бедная Надя, по счету насильственных гранатовых зерен проведенная, за исключением одной италийской весны, в родном Аиде – всю жизнь!

И бедная ее мать, от всего гранатового яблока искуса – ни зерна не оставившая, в Аиде навек оставшаяся.

И бедная В.Д., и за порогом отцова царства опутанная гранатовыми бусами...

И бедная, бедностью – счастливая Оля, променявшая все Плутонovy сокровища на пшеничный колос земли, любви.

Бедные – вы, и бедный – ты.

Зевес или Гадес – этот отец своих детей держал и вел, как Олимпиец. Таких, как он, судить нельзя. Да их больше уже не будет. *Были*.

Но была в нем одна область *не* олимпийская, *не* аидова, где ни лавров, ни гранатов, ничего, кроме золы и шлака. Это была область его ненависти: юдоненависти. Я еще нигде не сказала о ветхозаветном, изуверском, *иудейском* сердце Иловайского. Ибо что же его ненависть к евреям, как не библейская, Саваофом поведенная и Моисеем законоположенная ненависть правоверных к иноверцам и, ее пережиток, иудейская – к христианам? Иловайский, плачущий горячими слезами над заочно-отвергнутым, никогда не увиденным внуком, в жилах которого течет еврейская кровь (бедным Олиным сыном, недолго зажившимся), – что же он, как не изувер-еврей, плачущий над внуком, в котором течет христианская? И проклятия Д.И. последнему оставшемуся в живых ребенку – дочери, за то, что ввела в его род – еврейство – не те же ли проклятия того же изувера дочери, опорочившей его род – христианином?

Не-близнецы? Не-двойники?

Между таким юдофобом и тем же изувером – канат ненависти, связующий, и они, через эту связующую их *жилу*, глядятся друг в друга, как в зеркало.

Но *правоверный*, ненавидя, прав, *православный*, ненавидя – преступен.

Если был у Д.И. бог – то бог ветхозаветный, убийственный, губительный, бог с засухой из ноздрей и с саранчой за пазухой, – *тот* бог, не наш.

И, чтобы все сказать одним словом тогда семнадцатилетней Аси – Розанову, в ответ на какую-то его изуверско-вдохновенно-обличительную тираду:

– Василий Васильевич! На свете есть только один такой еврей.

(Розанов, бровями) – ? —

– Это – *Вы*.

* * *

И, выплывая на поверхность века, места и быта – Иловайский был менее всего самодур. Никогда – «чего моя левая нога захочет» (та, с которой нынче встал!) – всегда – *голова*. Между ним и Багровым-дедом ничего общего, кроме неизбежной тяжести личности¹¹ и единственного

¹¹ Quand c'est un caractère, c'est toujours un mauvais (Le Tigre) (примеч. М. Цветаевой). Перевод: «Что до характера, то он

в жизни обоих случая умиления над занесенным под их кровлю одиноким и бесстрашным женским существом. Новой особой женщины: единственной. Д.И. мою мать явно чтит, и она, столь страстная и безоговорочная в своих суждениях, его никогда, ни в чем, ни разу, за все мое детство, ни словом не осудила. Странность этой расположенности была и во взаимоположении этих людей: отец первой жены, расположенный ко второй. Вторая, так страдавшая от первой (тени первой!) – к отцу этой первой. По существу же, они чем-то, отдаленно, походили, подходили (совершенно так же, как совершенно непохожие Софья Николаевна и Багров-дед). Больше скажу: если бы не закон, по которому дочь у отрешенного ученого и старика – непременно красавица и певица (или танцовщица), если бы не этот закон обратной наследственности, моя мать больше бы годилась ему в дочери, чем его собственная, собственные. И вот он, ни в жене, ни в дочерях не встретивший (да и не допустивший бы!) помощницы, любовался на помощницу другого, заместительницу в сердце его единственного друга его любимой дочери. Моя мать же, как отдаленная, но истая германка, больше всего любившая трудность и чтившая труд, не могла найти слова осуждения тому, кто всю жизнь, волей и неволей, в работе, как в жизни, ничего другого не знал. И не хотел знать. Взаимное признание *сил*. Думаю, что если бы она словами захотела определить свое отношение к Д.И., этим словом было бы: «*Это* уже вне суда». Что – «*это*»? Да то нечеловеческое одиночество, холодившее кровь в жилах его собственных детей. Нечеловеческое одиночество служения.

Но и он ей – немало прощал, не только всю ее сущность, для него, по существу, дикую, но и самое для него в ней существенное: ее юдоприверженность: постоянную и в России и за границей окруженность евреями, не объяснимую ни происхождением (полупольским), ни кругом (очень правым) – *только* Генрихом Гейне, *только* Рубинштейном, *только* еврейским гением и ее женским вдохновением, *только* ее разумом, *только* ее совестью, – хотела сказать *только* ее христианством, но, вспомнив слово «несть ни эллин, ни иудей», не могу, ибо для нее иудеи – *были*, и были – милее «эллинов», и обертоном всех этих «только» (всех не перечислишь!), лейтмотивом *ее* и *моей* жизни – толстовским «против течения»! – хотя бы собственной крови – всякой среды (стоячей воды).

Так вот эту-то приверженность, для него совершенно непонятную и неприемлемую, Иловайский не сразу, молча, как органический порок в дорогом существе, раз навсегда – простил.

Когда она умерла, старик глубоко горевал. Помню его письмо к нам в Тарусу, твердое только почерком. «Вы потеряли не только близкого человека, но большого человека», – писал он своему единственному другу, моему отцу. «Друзей много, друга – нет» – вот еще одно его ворчливое, стыдливое (моему отцу же!) высказывание. Дружба эта, думаю, совсем не основывалась на общности идей. Если мой отец был верноподданный – то, как и православный, пассивно, традиционно, от прирожденного смирения, несуждения – и безразличия: безостаточной поглощенности другим: одним. Да и можно ли назвать «верноподданным» того, кто если и надевал свои ордена, то исключительно, чтобы просить за какого-нибудь забранного на сходке студента, которого и в глаза не видал. «Церковным» – того, кто, не желая смущать близких, а главное, делать из своей смерти «события», умер (сын, внук и правнук священника!) – *без* священника, хотя знал, что умирает. Такой «монархист» и «православный» прежде всего – человек. И – только человек. «Под небом места много всем» – вот его однострочное, детям по каждому поводу высказываемое исповедание. Иловайский же, кроме любви к России, знаменующей для него ненавистью к инородцам, любви к монархии вплоть до суда над монархом, ничего не знал и не хотел знать. Дружба эта зиждилась на дорогих телах, тенях. Нет прочнее дружбы – на костях! Это были два старика, потерявшие одну семью. Старых друзей – не судят.

Вижу их вдвоем, в низкой широкой комнате с многими, многими, одинаково-одинокими окнами в сад. Над притолокой двери, в него ведущей, охотничий рог Иловайского (никогда не

охотился!), которым он сзывал гостей и детей на трапезы, поражая молодежь мощью его звона: своих легких. Роландов рог историка, ныне навек замолкший.

Мы с Асей – в Спасском, именуемом также Крюковым, по названию станции Николаевской железной дороги. В детстве нам это невиданное Крюково мнилось крюком, железным крюком старьевщика, а то и клюкой, Ягой, значит, опять-таки – старостью. Со станции ехали на линейке, вещи без будущего и прошлого: *вдоль* событий, – мимо черных елей, мягко-колючими мокрыми лапами задевающих по лицу, как кропилом. Разлатое здание, поданное как на ладони болотистой равниной. В дом – цветником: тем, что им было, тем, что им больше не будет. Внутри тишина. Старина. Чувствую, что комнаты здесь живут одни, *продолжают*, не замечая, что половины семьи уже нет. Не замечая и оставшейся половины. Так что выход А. А., откуда-то сбоку, в сером переднике с грудью, со стопкой белья в руках, а за ней и Д. И., тоже в сером и тоже с белым (газетной стопкою!) скорей... неожиданен, скорей... нарушителей. Мы никогда не узнаем, насколько комнаты старых домов, которые мы, не замечая, минуем – нас не замечают, нас, как волны старого моря, минуют – в *своем* продвижении. Волны моря и рода, только изредка, по неучтимой прихоти, возвращающие через сотню лет берегу – наше кольцо, наше лицо – правнуку.

Сидим с Асей, сначала как на гвоздях, а потом уж – как пригвожденные, с краю штофного диванчика, на который нас усадила А.А., сама, неуютно и властно и от прямоты спины точно стоя, сидящая против нас на твердом стуле с работой в руках, к которым (рукам и работе) как будто бы и не снисходит. Между стариками канделябр в две свечи с зелеными наглазниками, от которых свет, на лица, исподлобья: «А не думаете ли вы, Иван Владимирович...» – «А не думаете ли вы, Димитрий Иванович...» Но чего не думают «И. В.» и «Д. И.», мы не слышим. Сидим убаюканные старческими интонациями и скучными сюжетами и зачарованные – немного как птицы – неотступным взглядом А.А. (вспоминающим? сравнивающим? невидящим?), в которой узнаю чудные глаза Сережи. Сережа был ее живым портретом, и теперь, после его смерти, она стала *его* живым. Тот же отродясь-иронический рот, та же возможность смеха в глазах (*rire latent*¹²) – смеха, ни им, ни ею не высмеянного. Сын, умирая, точно завещал ей свою молодость, чуть-чуть играющую по углам губ, – будто в прятки. В этот вечер я А.А. – любила, и она, точно почуяв, а может быть, и помягчев сердцем после потери своих, обаятельно и как с ровнями беседовала с нами, дикарями и сиротами, мать без детей – с детьми без матери, хвалила прочность нашей обуви, чистоту нашего французского выговора и в конце вечера до того необъяснимо растрогалась, что обещала нам в подарок: Асе – «Дети Солнцевы», мне – «Юность Кати и Вари Солнцевых», написанные какой-то ее родственницей. Самое изумительное, что мы, действительно, эти книги получили, каждая – новую, каждую с надписью: «От сердечно любящей А. А.».

Так сын в этот вечер перевоплотился в мать.

...Но был у иловайского молодого стола свой край – тихий. Это было царство небесное «херувимчика» Сережи, лебедя среди окружающих белоподкладочников, среди маменькиных сынков – сына матери. Здесь ни споров, ни вопросов. Здесь отродясь все было решено: пред-решено. Сережа из всех детей отродясь вверился Пимену и даже умирая не спорил. Примерный крошка в платьице, примерный гимназист, примерный студент – противно? Да, если бы не неотразимое очарование глаз, усмешки, повадки, легкого налета не то какой-то виновности, не то подтруниванья над собой – не то над вами, за то, что вы в это благонравие так уж поверили... Чуть сощуренные светло-черные, в полном соответствии с ртом, чуть усмехающимся и тоже как бы сощуренным по углам – глаза какого-то непрерывного храбрящегося прощания, гощения (недаром и умер в гостиной!), глаза старшие глядящего, глаза рода, глаза – последнего в роду.

¹² Невьявленный смех (*фр.*).

Тихоня, херувимчик, маменькин сынок, старушкин угодник, белоподкладочник, черно-сотенец?

Не тихоня, а тишайший, не херувимчик, а Cherub¹³, не маменькин сынок, а сын – матери, не стародамский угодник, а ревнитель древнейшей заповеди, не белоподкладочник – сама белизна, не черносотенец – горностаи.

Странно: в этом красавце было какое-то сходство с Павлом, да, вопреки уродству, вопреки красоте. Павел был уродливой крайностью того типа, которого Сережа был прекрасным полюсом. Тип же один: смертный. Очень явные ноздри чуть коротковатого, как бы ножницами подрезанного носа, очень явные зубы, глубокие ямы глаз, подъямины скул. Точно смерти с них даже не меньше придется снять (дело не в худобе), а меньше придется над ними работать (modeler, формовать), чтобы получить свой собственный образ. Такие лица часто бывают у детей, верней: много детей с таким лицом. (Детей – много, лицо – одно.) Мальчиков. Непременно: темноглазых. Взываю к сочувственному (эвокативному) воображению читателя.

Когда я все дальше и дальше заносу голову в прошлое, стараясь установить, уловить, кого я первого, самого первого, в самом первом детстве, до-детстве, любила, – и отчаиваюсь, ибо у самого первого (зеленой актрисы из «Виндзорских проказниц») оказывается еще более первый (зеленая кукла в пассаже), а у этого *самого* – еще более *самый* (чужая дама на Патриарших Прудах) и т.д., и т.д. (только в *другую* даль!) – когда оказывается, по слову поэта:

Я заглянул во столько глаз,
Что позабыл я навсегда,
Когда любил я в первый раз
И *не* любил – когда? —

а я сама – в неучтимальном положении любившего отродясь, – *до*-родясь: сразу начавшего с второго, а может быть, с того... в положении продолжения без начала, в положении отрожденного продолжения... Но конца у этого словесного периода, по самой внутренней его бесконечности, быть не может.

Правда, есть свидетельство моей матери о моей двухлетней бурной любви к черноглазому и-мазому студенту Айналову, но я этой любви не помню, кроме того, откуда мать могла знать, что это – первая, поручиться, что я уже с рук кормилицы не рвалась на другие, *не* ее? (Раз есть вещи, которые никогда не кончатся, всегда будут, – а эти вещи есть, и их знают все, – так же законно, чтобы были вещи, которые никогда не начинались, всегда были.) Но теперь, так сильно вжившись в Сережу, и по тому волнению, которое он, *мною* вызываемый, во мне вызывает, мне начинает казаться, – я на самом краю уверенности, – что первым живым мужским существом, которое я любила, был он.

Вижу себя четырехлетней толстой девочкой, часами в полном молчании простаивающей возле Сережи, глядя, как он заступом с Оки к нам на дачу в крутом боку горы роет лестницу. И когда однажды Августа Ивановна, раздраженная такой настойчивостью и устойчивостью – подвинуть меня дальше очередной Сережиной ступеньки было невозможно: «Да что ты всё глядишь и глядишь на эту Трессе¹⁴? Ничего в ней такого нет interessant!» – я, вздохнув всем животом: «Я гляжу на его голубые панталоны...» Голубые? Не знаю. Он тогда был гимназистом, а у гимназистов были серые. Или же, летом, суровые, холщовые. Голубизна Оки? Любви? Но слово и чувство «голубые» – помню.

Но что-то еще встает, раннейшее, позднейшее? «Сережа и Надя» – не Иловайские, а другие, не брат Сережа и сестра Надя, а другие, по-другому. В приложении к «Ниве». Про-

¹³ От cherubin – херувим (*фр.*).

¹⁴ Лестницу (*нем.*).

читанное? Прослушанное? У нас в Тарусе, как по всем таким семьям России – укрыться от темных ночи, – сбивались под белый ламповый круг (подножка лампы, объемом в медвежью ногу: медведь лезет в улей!), и кто-то что-то читал. Иногда детей «забывали». Только помню ожог и – жуть тайны посреди груди, там, где ребра расходятся: никому не сказать про Сережу и Надю, Сережу и Надю... Сережа и Надя. Приложение к «Ниве», рассвет девятисотых годов.

Странно, что от Старого Пимена я получила первый урок легкомыслия – непривившегося. Вот он, черным по белому, в малиновом альбоме Нади, гостившем тогда у сестры Валерии.

Спешу тебе в часы досуга
Написать десять строк.
Прими совет сестры и друга —
Не верь мужчинам, мой дружок!

Ты весела, ты все хохочешь,
В головке бродит ветерок,
Но, если плакать ты не хочешь —
Не верь мужчинам, мой дружок!

Пусть они тебе клянутся,
Пусть грозят взвести курок,
Ну, хоть на части разорвутся, —
Не верь мужчинам, мой дружок!

А если ты им верить будешь,
Они дадут тебе урок,
Который век ты не забудешь, —
Не верь мужчинам, мой дружок!

Я сказала: легкомыслия, хотя по содержанию нужно бы сказать: благоразумия. Но так как ни то, ни другое мне на роду написано не было – то и урок не привился, и я, как, впрочем, и сама Оля, и бедная Надя, и все мы, бывшие, сущие, будущие, до скончания веков, – аминь – в «неверие» не поверила, встречному – верила.

Но дело не во мне, дело в тоне эпохи, диктующем одаренной и благородной девушке такие стихи в альбом на редкость одаренной и одухотворенной сестре.

Не сужу. Невинно. То же самое, что «Раз в крещенский вечерок», и ведь главное – те же девушки! («Как ваше имя? Смотрит он и отвечает: Агафон».) Вечный сторожевой окрик одной сестры – другой (одной доверчивей другой!) – «Не верь: обманет!» Не вырождение девичества (бессмертного), а вырождение целой культуры, открывшейся Пушкиным и докатившейся до последнего листка девического дворянского альбома, на котором – уж не знаю, чьей рукой:

Когда я кончу мой вояж,
Mesdames, тогда я буду ваш!

(Прощание Собинова с московскими дамами, восход девятисотых годов).

Однажды, тогда же – мне было семь лет – Сережа, мне: «Так ты мне свои стихи перепишешь?» – «Ну, конечно, черт возьми!» – «Но зачем же „черт возьми?“ – с таким недоумением, даже страданием, несмотря на чуть выросшую улыбку, что я, сразу ударившись подбородком

себе в грудь (почему не ему?), разом всадила все четыре передние „лопаты“ в нижнюю губу. Странное чувство и не приписываемое себе, тогдашней, чувство, мне перед Сережей (семь лет и семнадцать) всегда было стыдно за себя – такую. Какую? Да здоровую (он тогда еще не болел), резкую, дерзкую, с черными ногтями. Я, как негр, стыдилась своей непоправимой черноты. Помню, какого труда мне стоило войти в залу, где на зеленом диване между зелеными филодендронами сидел он в своей небесного цвета тужурке с другими студентами, но не такими же, тоже в тужурках, но не таких. Какого сведения челюстей – пройти через всю эту паркетную пустыню и подать ему руку. „А стихи всё пишешь? Пиши, пиши!“ Мне от этого голоса сразу хотелось плакать. Плакать и каяться, что я такая злая, грубая, опять дала в зубы гувернантке, которая меня дразнила, жестянкой от зубного порошка, а вот он – такой добрый со мной, такой нежный... И чем нежнее и добрее он меня расспрашивал, может быть, что-то чужая и стараясь рассмешить: „Ну, улыбнись, улыбнись, улыбнись же наконец, не улыбка!“ – тем я ниже клонила голову с накипающими слезами и – последним голосом: „Я лучше принесу тетрадь, вы сами прочтете...“ Это, кажется, единственный человек за все мое младенчество, который над моими стихами не смеялся (мать – сердилась), меня ими, как красной тряпкой быка, не вводил в соблазн гнева... Может быть – он сам писал стихи? Прозу – знаю. Двенадцати лет (рассказ моей матери, очевидицы) он по настоянию родителей стал читать на какой-то их „пятнице“ свою пьесу „Мать и сын“. Действующие лица: „Мать – 20 лет, сын – 16 лет“. Взрыв хохота, и автор, не поняв причины, но позор поняв, сразу и невозвратно убежал в свою детскую, откуда его не могла извлечь даже мать.

А мать над ним – все могла. Больше скажу: он не мог иначе, чем мать. Не мог иного, чем мать. Думаю, они мало друг с другом говорили, больше – глядели. Ибо слова всегда опасны. Словами он бы должен был ей сказать: «Мама, зачем ты дергаешь Надю? Мама, зачем ты омрачаешь нашу молодость? Мама, мы скоро умрем». Глазами же он ей говорил одно: «Люблю. Твой».

Эта любовь у либеральной молодежи называлась «консерватизмом», равно как собственный инстинкт самосохранения – «политической оппозицией». Странные бывают слова (и чаще – иностранные!) для самых простых вещей. Но пока до простоты додумаешься...

Милый Сережа, четверть с лишним века спустя примите мою благодарность за ту большеголовую стриженую, некрасивую, никому не нравящуюся девочку, у которой вы так бережно брали тетрадь из рук. Этим жестом вы мне ее – дали.

Спасибо и за старый мир, ныне всеми, всеми преданный, больше всего же, хотя и невинно, теми, кто его хотят воскресить. Вы были его чистейшее зеркало.

Спасибо за верность дому – даже такому.

Спасибо за мать.

* * *

После Нерви брат и сестра стали умирать.

Не сразу. К нам за границу доходили слухи, что увезены они отцом в Спасское. Что кормит он их там овсянкой и заставляет спать с открытым окном. «Что ж (мать над письмом), и овсянка и окно вещи полезные, но вот – сырость... Ведь Спасское стоит на болоте... И не проще ли в Крым?» Но в Крым (предполагаемые доводы Старого Пимена) одних нельзя: опять в Надю все сразу влюбятся, и вдруг примерного Сережу окрутит какая-нибудь дрянь? А матери с ними ехать – значит, бросать всё. Всё, значит – дом. Дом, значит – сундуки. На кого оставить? На маленькую немку-экономку? Но она сама цыпленок, где ей? Только и умеет, что испуганными голубыми глазами не мигая глядеть на всех и особенно на Сережу, который никогда и мухи не обидел... Как ей совладать с вороватой горничной, лукавым дворником, пьяницей-кухаркой и всеми их земляками и кумовьями, – со всей этой грабилровкой? Кроме

того, в Крым, значит – на две семьи. И кто же будет разливать чай на ученых пятницах у Д.И.? Оля? Да к самой Оле надо приставить гувернантку, ибо из троих она – пушная, самая тайная и упрямая, опять у нее обнаружила борный вазелин для рашения бровей и ресниц – и не только упрямая, но и расточительная, ибо тот вазелин – у меня под ключом, значит, этот – новый. А все эти вазелины и ресницы, чтобы нравиться этому – не дай Бог! – как только его в дом пустили? – Р – ну. Какой уж тут Крым?

И веером, в ответ на эти соображения, Д.И., лаконически:

– Везу их в Спасское. Свежий воздух и овес – это главное.

Сережа умер первый. Про смерть свою он знал. Этот невинный, в земных делах несведущий ангелочек в этом последнем земном деле и в первом неземном оказался именно ангелом: знающим. Сколько я их видела, за всю болезнь моей матери, по Боривахам, по Квисисанам (почти уже – по часовням!), и на Ривьере, и в Шварцвальде, и в Ялте – врачей, выхаркивающих последний лоскут легкого с сияющей уверенностью, что это «маленький бронхитик», отцов семейств, не догадывающихся проститься с детьми, юнцов, расписывающих вечера на двадцать лет вперед, волкоподобных старцев, заедающих саму возможность возможности – сырым мясом (женщины, даже самые молодые, неизменно, знали) – тяжелобольных, с опытом чужой болезни, чужих ежедневных, с теми же приметам смертей, вплоть до № такого-то, куда уносят смертника, или, как в Нерви, в дом напротив, по винтовой железной лестнице, под гробовые своды сестринского убора, – а вот этот, без всякого опыта умирания, ибо умирал он от этой болезни в семье – первый и никогда в санатории не был, – не обманувшись ни посулом Крыма, ни собственным румянцем, ни особой легкостью в теле, так легко принимаемой за силу: смертью в жилах, принимаемой за жизнь, этот сразу понял – и – принял. Все его земные помыслы были только о Наде (о которой он тоже *знал*) – увезти поскорей Надю, спасти Надю... Все иные мысли – в Боге.

А мать? Мать была в нем, он умирал с нею внутри, как с, внутри, собственным сердцем.

Надя, уже не встававшая, на вынос брата смотрела из высокого окна зала, в которой теперь жила. Вчера – на товарища брата, который нравится и опять придет, нынче – на брата, которого любила и который уже никогда не придет. За которым – сама пойдет. Поедет – вот тем же снегом, такими же еловыми веточками, на тех же плечах... Вот в последний раз сверху, так сверху, так назвничь, как никогда еще, по-новому – внятно, по-высокому – далёко, и внятно, и тщетно, и близко, и далёко – как на ладони, отставленной за версту! – как собственное лицо на дне колодца – в последний раз лицо Сережи, от подпирающего лазурного ворота как бы все еще храбрящееся...

Усмешка... Ресницы...

Рядом с кареокой румяной смертницей, обняв подругу за плечо, поддерживая и даже удерживая – светловолосая, с глазами, плачущими точно своим же цветом, с возрожденской головкой, точно впервые ознакомившейся с собственным весом, Вера Муромцева, ищущая слов и никаких не находящая, кроме слез. Внизу, на снегу, черная одинокая фигурка: та самая немочка-экономочка, так боявшаяся взглянуть на Сережу, а когда глядевшая – то с чем-то пушим страха. Достоять обедни ей не дали и на кладбище не пустили – надо прибрать дом к возвращению – и вот торопливо прибирает, только не дом, а двор – от тех самых веток (чтобы не заметил дворник!). В руках целый букет – черных, мохнатых, так похожих на те, в Спасском. Эти ветки она будет хранить до дня своей смерти, для дна своего гроба, на дне своего экономкиного чемодана, когда осыплются иглы, соберет их в мешочек, мешочек завяжет лентой с шоколадной коробки, поднесенной ей иловойской молодежью (значит, и *им*) в прошлый сочельник. Сочельник... Ельник...

Наде, умершей месяц спустя, Бог послал тяжелую смерть. Не надо научных слов для такой вечной вещи, как смерть молодой красавицы. Как бы ни назывались сопутствующие ее болезни явления – муки были ужасные, и ни один врач ее от них не избавил. Умирала она тяже-

лее брата еще и потому, что хотела жить. Не о непостыдной безболезненной кончине живота молила, а о жизни – какой бы то ни было – только жить!

Что может быть жесточе такой Нади, из горячей постели горячей рукой тайком передающей монашке деньги, чтобы молилась о ее здравии по всем монастырям Москвы.

Умерла она в феврале, и выносили ее по тому же снегу. Жестоковыйный старик – в этот день он впервые выглядел стариком, а было ему уже сильно за семьдесят, – на похоронах плакал. Надя в гробу лежала красавица. Спящая красавица с старопименовской живой картины, нынче по-настоящему – спящая, с тем же, тогда чуть-чуть лукавым, ныне – знающим началом улыбки, или того, что нам, на спящих – глядящим, улыбкою кажется. «Я ничего красивее не видал, – рассказывал отец, шагая с нами, Асей и мной, тоже мимо черных елей, только не мокрых – трещащих от зноя, шварцвальдских – не спасских (закрываю глаза, чую запах и слышу, как хвоя трещит... И все они умерли, умерли, умерли...). – С распущенными каштановыми кудрями (умирала тяжело, и не могли расчесать), лицо – розовое, улыбка... – и с интонацией, близкой бы к негодованию, если бы сам, весь, не был сплошное смирение: – Такая красавица... Такая красавица... – И, внезапно, оборвав и фразу и прогулку: – Ну, домой пора. А то мама заждалась». (Мать моя умерла год спустя от той же болезни.)

Тут я должна рассказать одну очень странную вещь. Рассказываю я ее (февраль 1905 год) впервые. Рассказываю я ее потому, что весь тот мир – иловайского Старого Пимена и нашего цветаевского Трехпрудного, молодых красавиц, как Надя, и одиноких, на мой лад, девочек – кончен. Кончен не только *мой* тот век, но *весь* тот век. Рассказываю по неоплатному долгу – сердца.

Когда я в закрытом учебном заведении во Фрейбурге из письма отца узнала о смерти Нади, первое, что я почувствовала, было – конец веревки, вдруг оставшийся у меня в руке. Второе: нагнать. Вернуть по горячему еще следу. Даже (как слезы) загнать – откуда пришло. Сделать, чтобы этого еще не было. опередить – назад. Восстановить ее на прежнем (живом, *моем*) месте и, встав перед ней, не пустить. Первый ответ на удар было: сорваться с места. Но куда? Новодевичье кладбище далёко, да там ее и нет. Где же искать? В Нерви, конечно, где я ее видела в последний раз, на фоне лигурийского залива, под изгибом белой шляпы, выгнувшейся из заворачивающего экипажа. И вот, как по команде, – в Нерви. Обожав шагом колотящегося сердца все виноградом крытые дорожки нашего сада с прямо на голову свисающими лимонами и мандаринами, спустившись на мою соименницу «марину» («Видишь, вот ты и знаменитость! Везде твое имя написано», – смеясь, Надя, мне...), оттуда – в дом, сначала в их комнату, где они вдвоем с Сережей кашляли: кто – кого, потом в столовую, где под Новый год пускали лодочки с желаниями, и все *они* задумали одно, а она – другое, и ничего не сбылось! Потом в монастырский дом, не обнаружив ее нигде, обнаружив, что ее нет – *везде*, я стала в тупик. Где же мне ее искать, чтобы сказать... Что? Да то самое. Устав гадать и отложив на перед-сном, опять перечла письмо отца: «Сообщаю вам грустную весть. Вчера, такого-то февраля, умерла в больших страданиях бедняжка Надя...»

У-мер-ла. Значит, нигде?

И вот начинаются упорные поиски ее – везде.

«Куда ты?» – «Платок забыла в дортуаре». Проглотив лестницу, несусь по гулкому коридору, на поворотах чуть ли не отрываясь от собственного тела, опережающими и все же непоспевающими ногами влетаю... Может – здесь? Разве знает, что всй внизу. Но – ничего, кроме блеска холодного, мною же оттертого умывальника, кроме холодной белизны мною же накрытой постели, в рядах таких же белых и безнадежно-пустых. Как же я не сообразила, что здесь слишком светло? Что здесь можно только *быть*, или *не* быть. Где же, сейчас, темно? Есть тем-

ное место, всегда темное, музыкальная комната, одна во всем этаже, нежилом. Но туда, до Klavierübung¹⁵, не пустят. Как прожить эти три часа до шести?

– Klavierüben, Marina. – Намеренно-медленным шагом выхожу, уже не бегу, не бегу, даже когда одна в пустом этаже, с полным самообладанием, аккуратно, во всех подробностях управляюсь с туго поддающейся дверью (дать успеть прийти...). Осторожно, чтобы не спугнуть, просовываю голову, за ней, как ненадежного постороннего, впускаю тело. (Самое для меня теперь дивное, что я не только ее не боялась – *ее* боялась испугать.) Сажусь. Не оглядываюсь. Открываю рояль. Ганон. В полной честности проигрываю все положенные упражнения, событий не тороплю, само придет (сама придет)?.. Но, когда перехожу к «Invitation a la valse» «Приглашение к вальсу» (фр.), сердце не выдерживает и, не обрывая игры, в лад педальному нажиму: «Надя! Надя! Надя!» – сначала мысленно, потом шепотом, потом вполголоса... (Во весь голос не позвала, не назвала никогда.)

– Das Mägdlein schläft – ihr Eltern jammert nicht...¹⁶ Какой бог внушил дубовой Frl. Risky задать моему классу именно эти стихи? И не тот же ли бог внушил убогой Frl. Annie задать мне бетховенское «Lied für Elise»... «Песнь для Элизы» (нем.).

Нади я не увидела никогда, как ни взывала, как ни умоляла, как ни подстерегала – на всех коридорных поворотах оборотом головы жирафы на каждый мнящийся шум, шумок; как ни выстаивала – стойкой вкопанной гончей – все на той же полянке нашей ежедневной прогулки, пока другие ловили мяч; как воровски ни вращала в стену в простенке между платяными шкафами, мимо которых сейчас должна пройти; как ни выглядывала за благоприятствующей завесой ладана в ряду семисотлетних деревянных неразумных и разумных дев и, еще настойчивее, из собственных глаз выскакивая – в многообещающих портьерах Fremdenzimmer...¹⁷ С порога Fremdenzimmer, с постели Krankenzimmer¹⁸, во всем движущемся, во всем кажущемся – в каждом молчании – в каждом звучании – крадучись – наскоком – самоутверждаясь – развоплощаясь...

Нади я глазами не увидела никогда.

Во сне – да. Все тот же сон: прихожу, она только что была, иду за ней – она уходит, зову – оборачивается с улыбкой, но идет дальше, хочу догнать – не могу.

Но знаки – были. Запах, на прогулке, из цветочного магазина, разом воскрешающий цветочный бой и ее, цветком. Облако с румянцем ее щек. С изгибом ее щеки. Даже жидкий ячменный кофе, пока не налили молока, – с золотом ее глаз. Знаки – были. Любовь всегда найдет. Всё было знак.

Может, в моем повествовании не увидят главного: моей тоски. Тогда скажу, эта любовь была – тоска. Тоска смертная. Тоска по смерти – для встречи. Нестерпимое детское «сейчас!». А раз здесь нельзя – так не здесь. Раз живым нельзя – так. «Умереть, чтобы увидеть Надю» – так это звалось, тверже, чем дважды два, твердо, как «Отче наш», так бы я со сна ответила на вопрос: чего я всего больше хочу. А дальше? Дальше – ничего – всё. Увидеть, глядеть. Глядеть – всегда. И, странно: я, такая беспощадная в своей внешней самооценке, так стыдившаяся своей некрасоты перед ее (и Сережиной – и всякой) красотой, ни секунды не усумнилась: «А что, если Надя, такая красавица, увидев меня, некрасивую, да еще маленькую – не захочет?» Точно я уже тогда знала стих Гёте:

O, lasst mich scheinen, bis ich werde¹⁹.

¹⁵ Музыкальных упражнений (нем.).

¹⁶ Девочка спит, родители, не грустите (нем.).

¹⁷ Гостиной (нем.).

¹⁸ Комнаты для больных (нем.).

¹⁹ Какой кажусь, такой я стану (нем.).

а что *werde, сбудусь* я там по образу своей души, то есть такая же, как Надя, а если даже *нет*, если даже старая оболочка... —

Und diese himmlischen Gestalten
Sie fragen nicht nach Mann und Weib²⁰,

– значит, и на красоту и на некрасоту не смотрят... Точно я уже *тогда* знала то, что так непобедимо, неискоренимо и торжествующе знаю теперь: что там – отыграюсь. И последнее предзнание людей с их чистосердечнейшими поговорками о псе и льве, синице и журавле, погонщике мулов и царе – я знала, что соперников в *этой* любви у меня не будет.

Что главное в любви? Знать и скрыть. Узнать о любимом и скрыть, что любишь. Иногда *скрыть* (стыд) пересиливает *знать* (страсть). Страсть тайны – страсть яви. Так было и со мной. Мне было невыносимо говорить о Наде и невыносимо не знать о ней. Но еще невыносимее называть, чем не знать. Я жила, как робкий нищий, случайными подачками, как потом, выросши, в Революцию, подачками музыки на улице, ночью, под чужими окнами. (Так мне раз из арбатского ночного окна «подали» Рахманинова – сам Рахманинов.) Я жила случайными словами о ней, без моих, наводящих. Больше скажу: как только отец, нашими далекими еловыми походами (а мать все лежала, лежала, лежала, это было ее последнее лето, уже лежащее, уже под елями), как только отец начинал нам что-нибудь о *той* рассказывать, я каким-нибудь косвенным, отводящим, уводящим в подробности болезни и *от* любимой вопросом, с какой-то неправдоподобной, противоестественной для меня хитростью и удачливостью отводила (грозу счастья). Так я, совсем маленькая, молила Бога в сочельник утром, чтобы вечером еще не было елки, которой я так безумно ждала, которой жила. Так я, старше, с первых слов, уверткой или шуткой, пресекала любовное признание, конца которого, случалось, потом уже никогда не слыхала.

Что тянуло эту юную покойницу из тайного далека, с Новодевичьего в Шварцвальд (*издальше!*) ко мне, маленькой девочке, ей так мало знакомой? Ибо теперь вижу, что *моя* любовь была *ее* воля, что *она* ко мне шла, за мной ходила по меховым горам Чернолесья, *она* тихонечко и настойчиво зазывала меня в пену местной Ниагары – маленькой, холодной, глубокой и бурной речки, обрывающейся, как жизнь. *Она* заставляла меня молчать о ней – всем, особенно матери. *Она* глядела на меня из каждого миловидного жарового женского лица с санаторского кресла. Она, пользуясь моей близорукостью, заставила меня влюбиться в одну такую молодую больную, сменой сходства и несходства, очарования и разочарования, грубо говоря: неизбежностью контраста в свою пользу только пуще предав – себе. Влюбленность, которую я при своей тогдашней и всегдашней честности: бесстрашии осознания и названия, ни секунды не ощутила изменой: только подменой – и какой болевой!

Больше скажу: молодая покойница точно передала мне весь свой неизрасходованный румянец, ибо как только кто-нибудь: «Бедная Надя!» – или мать, глядя на свою сотоварку (ту самую!): «Боюсь, что она будет умирать, как Надя», – я, как разогнувшаяся пружина, не вскочив со стула, а выскочив из себя, уже неслась «за книгой» или «за палкой», зная, что через еще-секунду уж не смогу, никакой силой, никакой волей сдержать румянца: пожара! Любовь слепа? Но как люди на нее слепы! Так, даже мать никогда не разгадала моей тайны, – на лбу написанной! – озабоченно говоря мне по возвращении: «Какие у тебя резкие движения! На полуслове... Так ведь испугать можно. Книга... Палка... Ведь не горит!» Нет, горит.

...Почему не Сережу (любила)? Покаянную любовь моего раннего детства? Почему с его смертью примирилась, приняла ее – как все?

²⁰ И нет меж облаков небесных// Ни женских ликов, ни мужских (*нем.*).

А потому что Сережа сам смирился, а Надя – нет.

А потому что Сережа уже не хотел жить, а Надя – да.

А потому что Сережа совсем умер, а Надя – нет. Совсем ушел туда, со всем, что в нем было, а Надя, со всем, что в ней было, в ней *било!* не рассталась, совсем осталась.

И еще потому, быть может, что о Сереже уже *так* горевала мать, а о Наде так, как я (утверждаю это и сейчас), никто – никогда.

Милая Надя, чего тебе от меня было нужно? Стихов? Но они тогда у меня были детские, к тому же – немецкие...

Почему именно за мной ходила, передо мной вставала, – именно мной из всех тех, которые еще так недавно за тобой и вокруг?

Может быть, милая Надя, ты, оттуда сразу увидев все будущее, за мной, маленькой девочкой, ходя – ходила за *своим* поэтом, тем, кто воскрешает тебя ныне, без малого тридцать лет спустя?

* * *

Д.И. Иловайского я в последний раз видела, точнее – слышала, накануне открытия музея Александра III, в мае 1912 года, у нас в доме, в неулучно поздний час. Не дожидаясь прислуги, живущей через двор и, наверное, уже спящей, Сережа Эфрон, за которого я только что вышла замуж, открывает. Скрип парадного, какое-то ворчание, из которого выясняются слова: «Значит, дома нет?» И, проходя в залу: «А гардероб – будет?» Молчание, затем покашливание вопрошаемого. Вопрошающий, настойчивее: «Гардероб, говорю, будет? Под расписку, спрашиваю, сдают?» Выглянув из столовой, вижу, как Сережа, с всё еще любезной улыбкой, слегка подается от неуклонно, с бесстрашием Рока надвигающейся на него шубы, в которой (май!) узнаю Д.И. Иловайского. «А то (похлопывая себя по широченному, как у рясы, рукаву) она у меня небось бобровая, как бы (с желчной иронией) по случаю торжества-то – не лишиться! Тоже мода пошла, перекинет через ручку и «будьте покойны-с», с одной улыбкой-с, без всякой расписки-с... А кто его знает – слугитель или грабитель переодетый? На лбу ведь не написано, а если и написано – так ложь. Нет, номер нужен, номер!» Спрятавшись за самовар, гляжу дальше. Пауза и, прищурившись: «А вас я что-то не припомню... В прихожей-то было за Андрюшу принял, а теперь вижу – нет: еще выше и худощавее (и, неодобрительно) и годами будто *еще* моложе...» – «Я муж зятя... то есть зять дочери – Марины... Я хотел сказать: Ивана Владимировича. Муж». Иловайский, недоверчиво: «Муж? – и уже бесстрашно: – А-а-а... Так передайте, молодой человек, Ивану Владимировичу, что приходил его тесть от Старого Пимена, про гардероб узнавал».

И, перепутав родного внука с чужим зятем – уже сказанием! Уже привидением! – метя бобровой шубой дубовые половицы, темнеющей залой, за эти несколько минут совсем стемневшей – как снеговое поле, снеговым полем своей волчьей доли, скрипящим парадным, деревянными мостками, лайнувшей калиткой, мимо первых фонарей – последней зари – домой, к своему патрону – Пимену, к патрону всех летописцев – Пимену, к Старому Пимену, что на Малой Димитровке, к Малому Димитрию, к Димитрию Убиенному – в свой бездетный, смертный, мертвый дом.

* * *

Большое тире. Тире длиною в шесть лет: всей войны и начала Революции. Тире, заполненное для Иловайского потерей всего его мира.

1918 год. Весна. Стук в дверь. Редкий гость. Брат Андрей, о котором никогда ничего не знаю, ни жизни, ни окружения, ни горестей, ни радостей, ни даже адреса, ничего, кроме того,

что он нас, полуродных сестер, любит несравненно больше, чем родную, и если кого-нибудь на свете любит – то нас.

«Марина! У тебя еще живет этот жилец – как его?» – «Икс? Живет». – «Так ты уж, пожалуйста, устрой, чтобы выпустили деда». – «Как – выпустили?» – «Ну, да, сидит в Чека уже неделю». – «За что?» – «За убеждения. Пришли и арестовали. Совершенно неприлично». – «А сколько ему сейчас лет?» – «А Бог его... Около ста, должно быть». – «Ну-у?» – «Во всяком случае девяносто». – «Хорошо, я попытаюсь».

Поздно вечером сторожу у тогда еще звонившего телефона своего квартиранта Икса. Топ-топ-топ-топ – по лестнице. Открываю. «Генрих Бернардович!» – «Да?» – «Нечего сказать, хороши ваши большевики, – столетних стариков арестовывают!» – «Каких еще стариков?» – «Моего деда Иловайского». – «Иловайский – ваш дед?» – «Да». – «Историк?» – «Ну да, конечно». – Но я думал, что он давно умер». – «Совершенно нет». – Но сколько же ему лет?» – «Сто». – «Что?» Я, сбавляя: «Девяносто восемь, честное слово, он еще помнит Пушкина». – «Пом-нит Пуш-кина?! – И вдруг, заливаясь судорожным, истерическим смехом: – Но эт-то же – анекдот... Чтобы я... я... историка Иловайского!! Ведь я же по его учебникам учился, единицы получал...» – «Он не виноват. Но вы понимаете, что это неприлично, что смешно как-то – то же самое, что арестовать какого-нибудь бородинского ветерана». – «Да – (быстро и глубоко задумывается) – это-то – действительно... Позвольте, я сейчас позвоню... – Из деликатности отхожу и уже на лестнице слышу имя Дзержинского, единственного друга моего Икса. – Товарищ... недоразумение... Иловайского... да, да, тот самый... представьте себе, еще жив...»

Неделю мой скромный Икс гонял по Иловайскому делу, он – олицетворенные две ноги – на автомобиле! Неделю я ничего не спрашивала, ибо больше, чем верила – знала. И на седьмой день в тот же ночной час – топ-топ-топ-топ – (ровно в четыре скачка брал лестницу) – стук-стук-стук: «Марина Ивановна!» – «Да». – «Могу вас поздравить! Выпустили вашего дедушку. – Сияет, но лицо злое, то же сияние и злоба в голосе. – Но ззнате – не легко далось!» Я, робко: «Спасибо, я не нахожу слов, чтобы...» – «Совсем не надо, я с удовольствием, собственно без всякого удовольствия, я бы вообще не, но... Ему правда, девяносто лет?» Я, чтобы хоть чем-нибудь отблагодарить: «Девяносто восемь». – «А выглядит – шестьдесят. И голос бодрый. Да. Вы говорите – Наполеона помнит?» – «Всё, что угодно! А главное – Пушкина». Икс, на секунду полузакрыв глаза: «Замечательно!» Я, пользуясь секундой: «А за что его арестовали?» Икс, открывая настежь: «За германскую ориентацию». Я в полном чистосердечии изумления: «Но он же казак, даже станица есть „Иловайская“. – „Я не говорю: за германское происхождение – для нас происхождение не играет роли, мы же (точно кладя мне в рот, один за другим, шесть кусков сахара) Интер-на-ци-о-нал, я говорю: „ориентацию“. Я многозначительно: „А-а-а...“ – „Он очень, очень бодр для своих лет. И даже не для своих“. – „Он еще недавно на велосипеде катался. И в рог трубил“. – „В рог? Скажите! (с любопытством). А зачем, собственно?“ – «Чтобы все слышали. В Роландов рог – ну знаете, исторический. А верхом катался, пока лошадь не отняли». – «Мы», – сияя, заканчивает Икс.

На следующее утро явление Андрея. «Ну, Марина, молодец твой Икс! Выпустил деда». – «Знаю». – «Три недели просидел. Ругается!» – «А ты сказал, через кого?» – «Да что ты!» – «Напрасно, непременно передай, что освободил его из плена еврей Икс», – «Да что ты, матушка, он, если узнает – обратно запросится!»

Обратно не запросился – сам вышагнул. Из мира, где Иловайского сажает Игрек и освобождает Икс – в мир иной, о котором, думаю, за всю свою жизнь мало думал, целиком и отродясь отдавшись миру не менее потустороннему: былому.

Иловайский умер в 1919 году, 91 году от роду, как – не знаю и навряд ли узнаю, ибо единственный, кто мог бы мне сказать: его единственный внук и мой единственный брат Андрей в апреле 1933 года сам сошел в могилу, от того же старопименовского наследственного недуга, на

четырнадцать всего лет пережив своего древнего деда. Единственная же внучка его, полуродная сестра моя Валерия, настоящая наследница старопименовских страстей и его главной: непростительности, до сих пор еще не может простить моей матери (f# 1906 году) замещения в доме *ее* матери (f# 1890 году) и, ненавидя ее в наших, с Асей, голосах, лицах, жестах и даже *буквах!* Ненавидя так, как можно ненавидеть *единственно-ненавистное, дважды* воскресшее, именно: *ненавидя*: не могучи *видеть*, а видя – *наглядеться* – эта сестра Валерия мне, естественно, ничего не захочет сказать. Могла бы привести библейскую по ненависти сцену, тут же над ямой, этой сестры Валерии моей кротчайшей сестре Асе, на руках которой и умер Андрей, но это уже относится к нашей семейной хронике.

И, чтобы кончить о Д.И. Знаю только, что умер он у Старого Пимена и что работал до последнего дня. Да и не знала бы – знала бы.

Есть у меня на память о нем, с собой, его книга о моей соименнице, а отчасти и соплеменнице Марине, в честь которой меня и назвала мать.

* * *

Которая зима? Все они сливаются в одну, бессрочную. Во всяком случае, зима «прыгунчиков», непомерно высоких существ в белых саванах, из-за белого сугроба нападающих на одинокие шубы, а иногда и, под шубой, пиджачную пару, после чего – уже запоздалый ходок – в белом, а непомерно высокое существо, внезапно убавившись в росте – в шубе. Так вот, этой зимой прыгунчиков захожу с ныне покойной Т.Ф. Скрябиной к одним ее музыкальным друзьям и попадаю прямо на слова: «Необыкновенный старик! Твердокаменный! Во-первых, как только он сел, одна наша следовательница ему прямо чуть ли не на голову со шкафа – пять томов судебного уложения. И когда я ей: „Ида Григорьевна, вы все-таки поосторожнее, ведь так убить можно!“ – он – мне: „Не беспокойтесь, сударыня, смерти я не боюсь, а книг уж и подавно – я их за свою жизнь побольше написал“. Начинается допрос. Товарищ N сразу быка за рога: „Каковы ваши политические убеждения?“ Подсудимый, в растяжку: „Мои по-ли-ти-че-ски-е у-беж-де-ни-я?“ Ну, N думает, старик совсем из ума выжил, надо ему попроще: „Как вы относитесь к Ленину и Троцкому?“ Подсудимый молчит, мы уже думаем, опять не понял, или, может быть, глухой? И вдруг, с совершенным равнодушием: „К Ле-ни-ну и Троц-ко-му? Не слышал“. Тут уж N из себя вышел: „Как не слышали? Когда весь мир только и слышит! Да кто вы, наконец, черт вас возьми, монархист, кадет, октябрист?“ А тот, наставительно: „А мои труды читали? Был монархист, есть монархист. Вам сколько, милостивый государь, лет? Тридцать первый небось? Ну, а мне девяносто первый. На десятом десятке, сударь мой, не меняются“. Тут мы все рассмеялись. Молодец старик! С достоинством!»

– Историк Иловайский?

– Он самый. Как вы могли догадаться?

– А как вы думаете, он про них действительно не слышал?

– Какое не слышал? Конечно, слышал. Может быть, другие поверили, я – нет. Такой у него огонь в глазах загорелся, когда он это произносил. Совершенно синий!

Рассказчица (бывшая следовательница Чека), сраженная бесстрашием деда и многих других подсудимых, менее древних, следовательница эта, постепенно осознавшая, что и белые – люди, вскоре оказалась уже служащей кустарного музея, отдел игрушек. Мужа убили белые. Был у нее большеголовый, бритый, четырехлетний голодный сын...

* * *

Остается конец А.А. Он страшен. Потеряв всех (последняя дочь была за границей), А.А. осталась одна, втиснутая со всеми своими мебелью и сундуками в одну комнату – ту, полу-

подвальную, со сводами, бывшую Надину, окнами в сад. Вокруг был новый мир, от первого тесного круга вселённых жильцов – до кругозора новых идей – до огромного, в сплошных заревах, окоема Революции. Как же она с ним справлялась? Во-первых, она с ним сражалась. Осталась, но отстаивала. Что? Свое добро. И отстояла. Чтобы в полный разгар Революции, нося такое имя, в таком суде, выиграть не один, а целых два процесса с таким «арендатором» (так она это, для приличия, называла), для этого нужно было быть *ею*, то есть, по слову близкого ей лица, фанатиком собственности.

Попытаемся восстановить ее день, все тот же день одиннадцати революционных зим.

Вставанье в холоде. (Ничего, полезно, всю жизнь проспала с открытой форткой.) Чай без сахара (тяжело). Черный хлеб (именно *тяжело*). Очередь за мылом. (Ничего, выстою. Отстою свое, а уж *свое* – отстою!) И вот, при полном шутовском одобрении всей очереди («Ну и сурьёзная гражданка! сквозь такую не протиснешься!») победоносное изгнание «нахала» и свой кусок немывающего мыла – в руках. Домой, есть. Ест мало – приучена. (Вот только – овса нет! Точно они с Д.И. только для того и соединили свои жизни, чтобы вместе есть овес. Есть в этой ассоциации что-то умилительно-конское...) После еды – рытье в сундуках. Вижу ее на коленях, подперев все еще заносчивой головкой все еще маркизы кованую крышку сундука. Голова – болит. Ничего, своя ноша не тянет! Скаты сукна, полотна, шевиота, тисненого муара, атласа... С чем расстанусь? От чего оторвусь? И подумать, что все это будут носить хамы. Хамки. Хамки ради на коленях стою...

Смоленский рынок. Пожилая дама, в шубе с буфами, в высоких востроносых башмаках. Из-под белого кавказского (Сережиного еще) башлыка – черные глаза без всякой милости. Не предлагает, не протягивает, перевесив через отставленную руку – являет. Безмолвно. Но товар сам за себя говорит. «Сколько?» – «Столько». – «Да что ты, тетка... (под пронзительным взглядом) – да что вы, гражданка... (и, не вынося глаз) – да помилуйте, мадам, рази... Совсем гражданина обездолить хотите... Хотите?» (Цифра.) – «Нет», – точно лед треснул. О, эта ли уступит копейку с аршина – *этим*, когда и собственным своим молодым страстям, и родным детям не уступила. Никогда – никому – ни в чем. И вот, под двойным давлением недобрых глаз и добротности товара, гражданин ей в ладонь бумажки, себе под мышку – аршины. Стоят пересчитывают, каждый – свое, в беззастенчивости своей являя собой картину полного равенства.

Домой, в нору, с горстью рафинада в бумажке, с белым хлебом, но не под мышкой, а на дне английского, свиной кожи, чемоданчика.

Письмо за письмом от дочери. Настойчиво зовет за границу. Но – как расстаться с вещами? С собой взять? Всего не возьмешь. Продать? От одной мысли мороз. Как же без всего, одной, без арьергарда сундуков, корзин, мешков, узлов? Изредка посылки нуждающейся дочери: когда несколько английских фунтов от удачной продажи на Смоленском, когда шелковое платье *gris-perle*²¹, из только одного шлейфа которого та в Сербии шьет себе целое платье.

Кто-то в 1927 году о ней из Москвы пишет дочери:

«Обстановка у мамы ужасная – одна комната, сплошь заставленная вещами, и день и ночь горит в ней свет...»

Днем – от куста, то снеговым, то лиственным грузом застилающего свет.

Ночью – от дум.

Так – до 1929 года.

²¹ Жемчужно-серое (*фр.*).

* * *

Январь и ночь. А.А. собирается спать. Свет горит – тот самый, что и днем: верхний, белый, ровный. За окном – мерзлый сад. Под самым окном – во весь его дубовый ставень – замороженный сиреневый куст, как сторожевой пост.

Снимает с себя верхнюю в клетку, юбку, нижнюю, с крючком, юбку, на двенадцати пуговицах лифчик (четвертая на одной нитке – закрепить!), распускает вздержки, аккуратно складывает вещи в стопку. В одной рубашке, пробравшись между сундучной толкучкой, подымает покату, горбом, крышку, обнажает мраморную доску, подставляет под струйку губку. Надевает ночную кофту, продевает в иголку нитку. Вынув шпильки, обрабатывает щеткой до блеску. Вплетает косоплетку. Встав на циновку, молится на лампадку: «Хлеб наш насущный» и за упокой душ.

Стук. В ставню – куст, мерзлой веткой, как мерзлым пальцем. Точно вправду пальцем: вторым его согнутым, суставом. Раз – второй. А что, если будет?.. – Третий. И вот, крадучись, удаляется. А.А., хладнокровно: «Нервы». Но все же, для достоверности, пробравшись между острыми углами сундуков, привстав коленом на так и не убранные стопы «Кремля», приникает лбом к раме. Ничего. Глухая стена ставня. Оттолкновенье мерзлого стекла.

Да и чего бояться в таком доме? Со столькими жильцами? Сколько жильцов – столько револьверов. За такими ставнями? С таким дворником? Да и кому пугать по ночам, зачем? (В ту минуту А.А. забыла, что стучать можно не только, чтобы испугать, а и чтобы остеречь. И если бы она, как ей в самую смутную секунду было захотелось, сейчас – вышла, она бы, может быть, увидела не страшное, а родное – и в черноте ночи светло-черноглазое! – не по земле, а над землею отходящее от окна. А если бы и никого, ничего не увидела, кроме припавшего куста сирени, – то предостерегающий может, за отсутствием иных возможностей, постучать и веткой...)

Собравшись с духом, входит в ледяную постель.

Закрывает глаза, *не* свет. Свет горит, тот же, что и днем, так же, как и днем: ровно, неживо. Под закрытыми веками – лицо того солдата с рынка, которому вчера продала парчу. (Ту, от Надиного боярского, так и не сбывшегося, костюма.) Молодое лицо, безбородое. Через лоб «большевицкий» вихор. А жаль, что только по стольку-то аршин, хороша парча, дал бы больше...

А – сын? Забыла? Нет. (Нынче, разгребая сад, задела лопатой куст: зазвенел, как венок. В годовщину не забыть убрать фарфоровый: и цветы обились, одна проволока...) Но туда, на самое *дно*, где он, и только он один, не спускается никогда. Иначе – не жить. А жить – надо. Зачем? А сундуки? Кому же все пойдет: неношеное, нетронутое, некроеное, десятилетия подряд храненное и дохраненное до нынешнего дня. Дочь – далёко... Этим? Все – тем?! Нет, жить надо, всё прожить, чтобы не осталось, не досталось. Ничего. Никому.

Спит.

Беда пришла не из окна. Беда пришла из двери. Стук. А.А. спит. Вторичный, спешный. «Кто там?» – «Иван, дворник. Александра Александровна, дело до вас есть». – «Какое дело? Завтра!» – «Нет, дело неотложное, вы уж, пожалуйста, простите, что беспокою, долго не буду». – «Погоди входить, открою и сейчас лягу».

...Входит. Стоит молча. Глаза не те. А.А., властно и нервно: «Ну? – Упавшим голосом: – Да ну же?» Тот, в дверь: «Входи, ребята».

* * *

Старый дом точно только того и ждал.

* * *

Пришли шайкой. Пришли за миллионами, а нашли всего только шестьдесят четыре рубля с копейками. «Добра» не тронули – тряпки. Бежали на Кавказ, были прослежены, схвачены, судимы, иные – расстреляны.

Дом у Старого Пимена кончился в двойной крови.

* * *

И кончаю словами одноименных воспоминаний Веры Муромцевой, именем которой свои и начинаю:

– Ныне в приходской церкви Старого Пимена комсомольский клуб.

1933